

Павел Мельников-Печерский

Гриша



*Часть сборника
Княжна Тараканова и принцесса
Владимирская (сборник)*



Павел Иванович Мельников- Печерский Гриша

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2377545
Княжна Тараканова и принцесса Владимирская : повести,
рассказы, письма, очерк / Павел Мельников (Андрей
Печерский).: Эксмо; Москва; 2011
ISBN 978-5-699-52030-5*

Аннотация

«После колгуевского мещанина Аверьяна Самохинского, горького пропойцы, что возле кабака и жизнь скончал, оставался сын Григорий. Не было у него ни роду, ни племени; как есть – круглый сирота. Было уж ему лет тринадцать, а мальчишка все меж дворов мотался: где съест, где изопьет, где в баньке попарится, а все именем Христовым. Только и праздник, бывало, Гришутке, как иная бабенка, сжалившись над ним горемычным, обносок подаст ему. И пойдет сироте тот обносок за нову рубаху. Паренек был смирный, тихий, послушный: нужда да сиротство чему не научат? И открыл ему господь разум: выучился Гришутка грамоте самоучкой, ходя по домам безграмотных мещан, читал им Псалтирь да Четьи-Минею...»

Содержание

Павел Иванович Мельников-Печерский Гриша

Из раскольниковичьего быта

Давно то было... Лет пятьдесят и побольше того в уездном городе Колгуеве жило богатое семейство Гусятниковых.

В дальнем углу городка, на самом на всполье, строения Гусятниковых целый квартал занимали: тут были и кожевня, и салотопня, и свечной завод, и клееварня. До сих пор стоят развалины большого каменного их дома; от других строений следа не осталось – все вычистило в большой пожар, когда в два часа погорело полгорода.

И теперь есть в Колгуеве Гусятниковы, но люди заудалые, обнищальные! Из купцов давно в мещане переписались: старики только что не с сумой ходят, молодые – в солдатство по найму ушли. Сгиб, пропал богатый дом, а лет пятьдесят тому назад был он славен в Казани и в Астрахани, в Москве и в Сибири... Какие были богачи!.. Сколько добра было в доме, какую торговлю вели!.. Все прахом да тленом пошло!

Держался дом Гусятниковых матерью теперешних обнищавших стариков. Покамест жива была Евпраксия Михайловна, жили в богатстве и почете; не стало ее – все на иную статью пошло, – унесла она с собой и прежнюю честь, и прежнее довольство, и прежнее житье-бытье Гусятниковых. Как схоронили ее, так и зачали сыновья путаться; путались они, путались, да лет через десяток и спать не ужинавши стали ложиться. А не были ни воры, ни бражники: люди тихие, обходительные и не дураки... И никакого после материнной смерти божьего наслания не было – ни пожара, ни потопа, ни суда, ни иного какого разорения. И в казенные подряды не вступали и откупов не держали... Такова уж судьба.

Правда, перед смертью Евпраксии Михайловны было горе у них. Но, кажись бы, от того горя нельзя было в кон разориться. Судьба, одно слово – судьба!

Отец Гусятниковых, муж Евпраксии Михайловны, торговал бойко, но дела не совсем в порядке держал. Когда помер, а помер-то он в одночасье, на чужой стороне – в Саратове никак, – чуть было не пришлось дела закрывать. Евпраксия Михайловна молодой вдовой осталась, на руках семья: пять сыновей, две дочери – мал мала меньше. Седьмым ребенком на сносях ходила, как пали к ней вести, что сожитель побывшился. – «Порешились Гусятниковы», – загово-

рили по купечеству... Родила Евпраксия Михайловна, справилась, сорочины по муже справила и сама за дело взялась. – «Куда молодой бабенке с такими делами возиться, – заговорили купцы, – от таких дел и у старого купца затрещит голова! Куда ей?»

В немощах человеческих господь силу являет: молодая вдова в три-четыре года дела на лучшую ногу поставила, кожевенный завод, при муже чуть не заброшенный, так подняла, что сделался он первым по губернии, и на Макарьевской ярмарке гусятниковская юфть стала всем знаема. Сыновей Евпраксия Михайловна вырастила, выучила, переженила, дочерей за хороших людей замуж повила: одну в Казань, другую в Муром, третью чуть ли не в Арзамас. Сыновья не делились, все при матери жили даже и тогда, как своих детей переженили. Одно слово – так хорошо да ладно устроила все Евпраксия Михайловна, что и мужчине не всякому так удастся. И наградил ее господь многолетием: видела Евпраксия Михайловна внуков женатых, нянчила, холила правнуков, ото всех людей почтена была за жизнь строгую, подвижную. Правдой жила: много потаенного добра творила она, много раздавала тайной милостыни, и на смертном одре поднесла господу три дара: первый дар – ночное моление, другой дар – пост-воздержанье, третий дар – любовь-добродетель.

Страннолюбие поревновала Евпраксия Михайловна. Кто ни приди к ее дому, кто ни помяни у ворот имя Христово – всякому хлеб-соль и теплый угол. С краю обширной усадьбы, недалеко от маленькой речки, на самом на всполье, сердобольная вдовица ставила особую келью ради пристанища людей странных, ради трудников Христовых, ради переходжих богомольцев. Много тут странников привитало, много бедного народа упокоено было, много к господу теплых молитв пролито было за честную вдовицу Евпраксию.

Женского пола странние люди у Евпраксии Михайловны в самом доме привитали; сама она с дочками, покамест замуж их не повидала, да со снохами за странницами, ради бога, ходила... Мужской пол по старому уставу должен жить особо, послужить старцу должен мужчина, – того ради ставила Евпраксия Михайловна на усадьбе особую келью, а потом искала человека, смотрел бы он за келейкой денно-нощно, был бы при ней неотходно, приносил бы старцам и переходжим богомольцам горячую пищу; служил бы не из платы, а по доброму хотенью, плоть да волю свою умерщвлял бы, творил бы дело свое ради бога. В страхе господнем вспоенные, вскормленные сыновья сами на то дело позывались, но Евпраксия Михайловна им на то говорила:

– Полноте-ка вам, детки! Разве вам того неизвестно, что каждому человеку от бога своя дорога, каждому человеку от господа забота? Вам дана забота – вести торг честный, на келейное дело вы, мои ребятки, не сгодились. Семка присмотрим сироту такого, был бы смиренный да богобоязный, бога ради работающий, бога ради терпеливый. По силе помощь ему подадим: барский, так выкупим; вольный, рекрутску квитанцию выправим – станет он у нас старцев покоить да бога молить об отпущеньи наших согрешений... Ладно, что ли, ребятки?

Сыновья матери ни в чем не перечили, а по такому делу и подавно. Решили искать сироту. По скорости отыскивали такого.

После колгуевского мещанина Аверьяна Самохинского, горького пропойцы, что возле кабака и жизнь скончал, оставался сын Григорий. Не было у него ни роду, ни племени; как есть – круглый сирота. Было уж ему лет тринадцать, а мальчишка все меж дворов мотался: где съест, где изопьет, где в баньке попарится, а все именем Христовым. Только и праздник, бывало, Гришутке, как иная бабенка, сжалившись над ним горемычным, обносок подаст ему. И пойдет сироте тот обносок за нову рубаху. Паренек был смиренный, тихий, послушный: нужда да сиротство чему не научат? И открыл ему господь разум: выучился Гришутка грамоте

самоучкой, ходя по домам безграмотных мещан, читал им Псалтирь да Четьи-Минею. И возлюбил Гриша божественные книги, и уж так хорошо пел он духовные песни, что всякий человек, что в суете век свой проводит, заслушается, бывало, его поневоле. А был он из раскольников, из «записных» – из самых, значит, коренных – деды, прадеды его двойной оклад платили, указное платье с желтым козырем носили, браду свою пошлиной откупали. Это было с руки Евпраксии Михайловне: и сама она с детками «по древлему благочестию» пребывала. Только были они не злой какой секты, а по беглому священству – по Рогожскому, значит, кладбищу.

И взяла к себе в дом Евпраксия Михайловна бездомного сироту Гришу. Обмыли его, одели, рекрутскую квитанцию купили и, по доброй его воле, по его благому хотенью, приставили к богадельной келье. Там, за кафельной печкой-голанкой, устроили ему особую каморку. В той каморке, об одном малом оконце, стал жить и подвизаться молодой келейник, а в свободное время, когда в келейке ни скитских старцев, ни переходящих богомольцев не бывало, читал книги о житии пустынном, о подвижниках Христовых, что в Палестине, и во Египте, и в Фиваидских пустынях трудным подвигом, ради господи, подвизались.

Живет Гриша у Евпраксии Михайловны год, живет

другой, живет третий, старцам и странникам людям слу- жит, божественные книги читает.

Отверстою душою, умом нераздвоенным внимает он древним сказаньям о подвигах отцов преподоб- ных. С жаром, с любовью читает «Повесть об индей- ском царевиче Асафе». Вот думает, бывало, Гришут- ка: «Вот – и царевич был, и царством владал, жил в белокаменных палатах, было у него золотой казны несметно, всяких сокровищ земных неисчетно... Про- менял же царские брашна на гнилую колоду, сладкие меда на болотну водицу...» И западала в юную голо- ву Гриши крепкая дума – как бы ему в дебрях пустын- ных постом и молитвой спасти свою душу... Разрас- талась, расширялась у него та дума, и, глядя на си- неву дремучего леса, что за речкой виднелся на краю небосклона, только о том и мыслил Гриша, как бы в том лесу келейку поставить, как бы там в безмятеж- ной пустыне молиться, как бы диким овощем питать- ся, честным житием век свой подвизаться, столп ради подвига себе поставить и стоять на том столпе триде- сять лет несходно, не ложась и колен не преклоняя, от персей рук не откладая, очей с неба не спуская...

Стоит, бывало, стоит юный келейник, вперя вдаль свои очи, стоит, ничего не слышит, по душе у него сла- дость разольется, и, сам не знает отчего он заплачет; заструятся по впалым бледным ланитам горячие сле-

зы, и запоет он тихонько стих в похвалу пустыне:

О, прекрасная мати-пустыня!
Сам господь тебя, пустыню, похваляет:
Отцы по пустыне скитались,
И ангелы им помогали...
Прекрасная ты пустыня,
Прекрасная ты раиня,
Любимая моя мати!
Прими ты меня, мать-пустыня,
От юности моей прелестной!
Научи меня, мати-пустыня,
Жить и творить божье дело!

И долго-долго, бывало, тихим тоскливым напевом поет Гриша свою песню, глядя на синеву лесную. Спустится на землю вечерняя тень, черной полосой вытянется лес по закраю неба, а он все поет да поет любимую песню... Яркие звезды одна за другой загораются в небе, полный месяц выкатится из-за леса, серебристым лучом обольет он широкие луга и сонную речку, белоснежные песчаные берега и темные, нависшие в воду ракиты, а Гриша, ни голода, ни ночного холода не чуя, стоит босой на покрытой росой луговине и поет-распекает про прекрасную мать-пустыню...

Подвизался Гриша житием строгим; в великие только праздники вкушал горячую пищу, опричь хлеба да

воды ничего в рот он не брал. Строгий был молчальник, праздного слова не молвил, только, бывало, его и слышно, когда распевает свои духовные псалмы... И что ни делает, где ни ходит, все молитву господню он шепчет.

На усадьбе Евпраксии Михайловны много жило народу: тут стояли заводы кожевенный, салотопный, свечной, клееварный, тут же кошму из шерсти валяли, овчины выделывали, – одних работников что тут жило? А кроме того, по торговой части приказчики да артельщики и другие наемные люди – и все-то жили в особых избах, каждый со своим семейством. Так устроила своих домочадцев добрая, заботливая обо всем Евпраксия Михайловна. По задворью, по огоро-ду, по всему широкому усаду день-деньской народ так и снует, так и кишит, так и носится роем. С раннего утра до поздней ночи стоном стоят голоса... На таком-то великом многолюдстве, на такой-то суете шумной слова ни с кем не молвил Гриша-келейник... Ходит, опустя очи долу, ничего не видя, ничего не слыша, и беззлобно, безответно переносит злые насмешки рабочих, щипки да рывки мальчишек. Но глумленья, укоризн и всякой досады от них Гриша-келейник не боялся, все озлобленья суетных людей принимал с весельем, почитая их за благодаянья... Зато пуще огня, пуще полымя боялся он женского пола. Наслу-

шался от переходящих старцев и сам в книгах начитался, что женская лепота горше всякого другого соблазна, что самых строгих подвижников враг человеческого рода, диавол, всегда иский кого поглотити, уловляет в геенские сети женской греховной красотой.

А молодые девчата – десятков до трех их жило на усаде – изловят, бывало, Гришу на огороде либо на всполье, хватить его за руки, да и ну – вокруг себя вертеть, тормошить, обнимать его белыми, как молоко, полными упругими руками... А сами звонкими, смеющимися голосами страстно, любовно ему напевают:

Монашек, монашек,
Купи нам калачик,
Мы тебя, монашек, поцелуем,
Под ракитовым кусточком побалуем...
Монашек, монашек,
Купи нам калачик.

Молитву за молитвой творит бедный Гришутка, крепко защурив глаза, чтоб не встретиться взором с светлыми, пуще огня палящими девичьими очами... Дня по два, по три после того искушенья бывал он сам не в себе... И накладывал он пост втрое строже, насыпал в каморке кремней и битых стекол, ходил по ним босыми ногами, клал тысячи по три поклонов, налагал на плечи железны вериги и прилежно читал книгу

Аввы Дорофея. Хочется заглушить в душевном тайнике память о жгучем, томительном, захватывающем дыханье чувстве, что сладко-огненной струей пробежало по всем его суставам и, ровно пламенной иглой, насквозь кололо его бедное сердце, когда белолицые, полногрудые озорницы, изловив его, сжимали в своих жарких объятьях, обдавали постное лицо горячим, сладострастным дыханьем... Стоит Гриша на кремнях, на битых стеклах, перед книгой Аввы Дорофея, громким голосом истово и мерно ее читает, а все слышится ему звонкий хохот Дуняши, самой озорной из всех усадских девок... Завсегда, бывало, эта Дуняша первая подустит на келейника девок, первая подманит подруг на всполье, первая затащит Гришу в круг девичий, первая заведет игры, первая успеет обвить шею постника жаркими руками и с громким, далеко разносящимся в вечерней тиши смехом успеет прижать отуманенную голову его ко груди своей лебединой...

Стоит Гриша, борзо, истово лестовку перебирая, бессчетно кладет земные поклоны, а потом читает «Скитское покаянье»: «Согрешил есмь душею, и умом, и телом, сном и леностью, во омрачениях бесовских, в мыслех нечистых». Так шепчет Гриша, глядя в «Скитское покаянье», но слова звучат без участия ума – помыслы мятежного, полного прелестей

мира восстают перед ним в обольстительных образах, и таинственный голос несется из глубины замирающего сердца... Сладко, соблазнительно он говорит ему: «Помнишь Дуню молодую?.. Помнишь, как глаза у ней горели?.. Помнишь, как грудь колыхалась?..»

Вздрагнет всем телом Гришутка, вырвется отчаянный вопль из души его. Сам себя пугается, торопливо ограждает себя крестным знаменьем, и, судорожно схватив с наля «Скитское покаянье», громко барабанит, не спуская глаз с книги:

«Грядет мира помышление греховно, борют мя страсти и помыслы мятежны. Помилуй, Господи, раба своего, очисти мя окаянного, скверного, безумного, неистового, злопытливого, неключимого, унылого, вредоумного, развращенного...»

А голос свое:

«Вспомни, как горели очи ясные, как рделись багрецом щеки маков цвет... Вспомни, как, дрожа всем телом, изнывая в сердечной истоме, она обняла тебя... как прильнула к тебе алыми устами, как прижала тебя к белоснежной груди...»

– Изми мя от враг моих, – громко читает по книге келейник, – и от восстающих на мя; изми мя от руку диаволу; отжени от мене помрачение помыслов, дух нечист и лукавнующий; избави мя от сети ловчи, не вниди в суд с рабом своим...

А голос сердечный:

«Брось молитву!.. Вон из кельи!.. К ней поди!.. Посмотри, как в светелке она спит одна у окна... Высоко поднимается грудь, и раскрыты уста, и дыханье ее горячо...»

– О Господи!., падаю... – шепчет келейник, – спаси...

А голос:

«Как бы сладко прильнуть к красоте молодой!»

Последние силы собрал Гришутка, прогнать бы только лукавого беса... И крепко ухватил он лестовку, хочет молитву читать на прогнание бесовских мечтаний... Но сухие, дрожащие уста нехотя вторят тайному, сердечному голосу: «Как бы сладко припасть к ее персям щекой огневой...»

А где она огневая?.. Всю в посте иссушил...

Вдруг стукнуло оконце... растворилось. В белых рукавах, в белом переднике, в бледно-розовом сарафане, с распущенными длинными темно-русыми волосами, в венке из свежих васильков, вся облитая сияньем месяца, лукаво улыбаясь и прищуря искрометные глазки, глядит на постника белотелая, полногрудая красавица Дуня. Страстью горячеей, ничем не одержимой, страстью любви пышет она...

– Здравствуй, Гриша, голубчик!.. Здравствуй, дорогой мой, желанный!.. – ясным голосом крикнула и, за-

ливаясь резвым хохотом, кошечкой прыснула к подругам на всполье. И в тиши ночной раздается над речкой девичья песня:

Мы посеем, девки, лен, лен, лен.
Мы посеем молодой, молодой...

Стоит Гриша босой на кремнях, на стеклах, как вкопанный, – лестовка из рук выпала, «Скитское покаянье» на полу валяется, давят плечи тяжелые вериги. Тихо шепчет келейник:

– Ах, ты, Дуня, моя Дуня!..

А с поля несутся веселые звуки ночного хоровода:

Как во городе было во Казани,
Сдуниной-най-най – во Казани.
Молодой чернец постригался,
Сдуниной-най-най – постригался.

А свежий воздух майской ночи теплым, душистым потоком так и льется через отворенное Дуней оконце в душную келью стоящего на кремнях и стеклах постника. Тихо рыдает отшельник, по распаленному лицу его обильно струятся слезы, но они не так ему сладки, как те, что лились прежде, когда, глядя на зеленый лес, в самозабвении, певал он песню в похвалу пустыне.

Идут день за день, год за годом – Гриша все живет у Евпраксии Михайловны. Темнеют бревенчатые стены и тесовая крыша богадельной кельи, – поднимаются, разрастаются вокруг нее кудрявые липки, рукой отрока-келейника посаженные, а он все живет у Евпраксии Михайловны. И сам стал не таков, каким пришел, – и ростом выше, и на вид возмужал, и русая борода обросла бледное, исхудалое лицо его.

Много всякого народу перебивало на глазах Гриши: раскольники ближние и дальние, каждый трудник, каждый переходный богомолец, идут, бывало, к Евпраксии Михайловне о всяку пору, ровно под родную кровлю. Кто ни брякнет железным кольцом о дубовую калитку страннолюбивой вдовицы, кто ни возвестит о себе именем Христовым, всякому готов теплый угол, будь раскольник, будь единоведец, будь церковник – все равно, отказу никому не бывало. «Все люди – Христовы человеки», – говорила Евпраксия Михайловна, когда скитские матушки иль читавшие негасимую «каноницы» зачнут, бывало, начать ее: сообщаешься-де со еретики, даешь всякому пристанище – и покрещеванцу, и никонианину, и бог весть каким иным сектам.

Много разного народа видал Гриша; но еще не случилось видать таких подвижников, про каких писано

в Патериках и Прологах. «Неужли, – думает он, бывало, – неужли всех человеков греховная, мирская суета обуяла?.. Неужли все люди работают плоти? Что за трудники, что за подвижники?.. Я и млад человек и страстями борим, а правила постничества и молитвы тверже их сохраняю».

Поднимала в тайнике его души змеиную свою голову гордость треклятая. И немало старался он разогнать лукавые мысли, яко врагом внушенные, яко помысл гордыни, от нее же – читывал он – и великие подвижники с высоты ангелоподобного жития падали... Тщетны труды, напрасны усилия – самообольщение и гордость смирением, гордость многотрудным своим подвигом, неслышно и незримо подтачивали душу его... «И в самом деле, – думывал он, – что ж за трудники, что за постники, что в богоданной моей келейке привитают? Днем на людях, только у них и слова, как Христову рабу довлеет жить на вольном свету: сладко не есть, пьяно не пить, телеса свои грешные не вынеживать, не спесивому быть, не горделивому, не копить сокровищ и тленных богатств земных, до сырых, убогих быть податливу, – а ночью, как люди поулягутся и уйду я в каморку, – честные старцы по вечерней трапезе не на правило ночное становятся, а делом не волоча, к пуховику на боковую. Иной, бывало, всю ноченьку насквозь деньги просчитает, что собрал

у христороубцев и дателей доброхотных, другой с полпгофчиком до свету пробеседует; а двое сойдутся – того и жди, что вместо душеспасительных словес про баб да про девок речь поведут... Что ж это за трудники, что за подвижники?..»

Сидит, бывало, Гриша пришипившись в каморке, сидит, а сам в щелочку смотрит, с трудников глаз не спускает, глядит, сколь добрым подвигом иной старец в тиши ночной подвизается. Но, глубоко проникнутый духом суеверия, не верит Гриша телесным очам, силится прозреть очами духовными, гонит от мятущегося ума мысль о непотребстве старца и на то свой помысл простирает: «враг-де это, лукавый дух, бесовское мечтание грешным очам моим представляет». И зачнет творить молитву от дьявольского наваждения, а сам все смотрит, как старец с водочкой беседу ведет либо деньги считает.

Насилуя себя, держа ум в таком напряженьи, и день и ночь воображает себя окруженным темною силой демонов, что, являясь в соблазнительных образах, силятся уловить его в сети, совратить с тесного пути, увлечь в шумный, полный суеты, многопрелестный мир... Уверился Гриша и в том, что по ночам не Дуняша в оконце постукивает, не она с ним на речке заигрывает, но некий-от эфиоп, сиречь бес преисподний, в девичьем образе выходит из геенны смущати его...

«Окаянный – от, думает, все больше во образе жены с трудниками борется; и в книгах писано, что в древние времена в киновиях и великих лаврах синайских, в пустынях египетских и фиваидских преподобным отцам беси в женском образе все больше являлись... Такой уж у них, у проклятых, обычай! А все на пакость человеку».

Приходили раз к Евпраксии Михайловне двое старцев, оба раскольничьи мнихи. Один сказался из Чернолесского скита, другой – бродячим иноком... Таких немало по захоlustьям. Наскучит жить в ските, где надо правилам подчиняться, настоятелю повиноваться, иль будучи изгнаны из обители за бесчинство, непутные старцы пускаются бродить по белу свету. У одного доброго человека поживут, у другого, да этак бродя из деревни в деревню, из города в город, век свой меж людей и проколотятся. И такие есть, что не только в скитах не живали, не видывали их. Надел изволом манатейку с кафтырем и пошел странствовать да слыть за инока честного.

Скитский старец – звали Мардарием – приехал в Колгуев на монастырской подводе с просительным письмом к «благодетельнице» Евпраксии Михайловне от чернолесского игумена Пафнутия: прислать на монастырскую потребу ржицы да пшенички, маслица да рыбки, а будет милость – и деньжонками не оста-

вить. Был тот Мардарий старец тучный, красная рожа, плешь во весь лоб, рыжая борода, широкая, круглая, чуть не по пояс. Отдав жирную скитскую лошадь на попечение работникам Евпраксии Михайловны, он зашел сначала в батрацкую избу, снял меховой треух с головы, распоясал красный гарусный кушак, нагольный тулуп и обрядился во весь иноческий чин: свиту надел, камилавку с кафтырем, в левую руку лестовку взял и стал как надо быть иноку. В пути такой одежды носить не дерзал: в уезде – исправник да становой, в городе – городничий. Как раз за такую одежду, как за внешнее оказательство ереси, угодишь за решетку. Войдя к Евпраксии Михайловне, Мардарий положил уставной семипоклонный начал и, поклонясь в пояс во все стороны, подошел к хозяйке. Евпраксия Михайловна, как ни богата, в каком почете ни жила, творит по уставу метания, к стопам Мардария припадая, говорит ему:

– Прости, честный отче! благослови, честный отче!

– Бог простит, бог благословит, – отвечает Мардарий и, вручая вдове просительное письмо игумена, заводит речь уставную.

– Христианския жизни доброжелательнице, ко смиренным, бедным, убогим скорая помощнице, крепкая хранительнице святоотеческого предания, добродетелями, яко солнце, сияющая, смирением, яко бисе-

ром многоценным, украшенная, честная вдовице, божия раба Евпраксия! Ко твоей любви, убогие, притекаем, от твоих великих щедрот обильныя милости чаем. Се же и письмо просительное отца нашего игумена Пафнутия и всей о Христе честной братии. Обнищавом, госпоже, оскудехом: озлоблени суще в обители нашей, гладу и хладу и всякой тесноте и угнетению, нищете и нагохождению предани бяша к тебе вопием, многомилостивая вдовице Евпраксия! Отверзи щедрую руку твою, благоволи от праведных трудов своих некое подаяние нищенствующей братии учинити, да узриши сыны сынов своих и да сподобишися пел и я и богатыя милости от самого царя небеснаго в сей век и в будущий.

– Садитесь милости просим, честный отче, – отвечает Евпраксия Михайловна, – рада по силе-помощи. Чем вас потчевать, батюшка? Девицы, кликните Гришу! Здоров ли, батюшка, отец Пафнутий?

– Здрав телесне, в душеспасительных подвигах обретается, – отвечал Мардарий, садясь.

Это было в моленной горнице. Вся передняя стена уставлена древними, богато украшенными иконами; под ними висят дорогие пелены: парчовые, бархатные, золотом шитые, жемчугом низанные. Перед иконами ослопные свечи, негасимые лампы... На скамьях три невестки Евпраксии Михайловны, да с пол-

дюжины скитских матерей и канонниц, а у притолоки бродячий старец отец Варлаам – здоровенный, долговязый парень лет тридцати пяти, искрасна-рыжий, с прыгающими глазками и редкой бородкой длинным клинышком. Поклонился Мардарий Варлааму, тот ему «метания» сотворил и сел на свое место... Оба ни гу-гу; сами друг на дружку поглядывают.

Закусочку подали. Изобильна была предложенная трапеза на утешение иноков: икра паюсная, стерлядь вислая, вязига в уксусе да тавранчук осетрий, грузди да рыжики, пироги да левашники, ерофеичу графинчик, виноградненького невеликая бутылочка.

– Благословите, отцы честные, откушайте, – потчует иноков гостеприимная вдовица.

– Можно, – порывисто молвил Мардарий и чинно, положив три поклона, принялся за вязигу, Варлаам рыбного употреблять не дерзает. «По обету пятый год на сухоядении обретаюсь», – говорит. Опрichь хлеба да груздочков ни к чему не приступил.

– Водочки-то, отцы честные, водочки-то откушать?

– Не подобает, – так же порывисто ответил Мардарий. А Варлаам даже повесть от Пандока¹ рассказал, откуда взялось хмельное питье и как оно человека от бога отводит, к бесам же на пагубу приводит.

¹ Раскольничье новоставленное (в XVIII веке) сочинение, наполненное вздорами о картофеле, табаке, чае и пр.

Не нарадуется, глядя на воздержанных и подвижных гостей, Евпраксия Михайловна. И она, и келейницы, и канонницы прониклись чувством высокого к ним уваженья, а у Гриши, что, войдя по призыву хозяйки в горницу, стал смиренно у притолки, сердце так и распаляется: привел-де наконец господь увидеть старцев благочестивых, строгих, столь высоких подвижников. Дух у Гриши занимается, творит он мысленную молитву, благодаря бога, что приводится ему послужить столь преподобным старцам.

– Побеседуйте меж себя, честные отцы, – низко кланяясь Мардарию и Варлааму, говорит Евпраксия Михайловна, когда кончили они трапезу, – просветите нас, скудоумных, разумной беседой своей.

И велела каноннице сыновей кликнуть, и они бы насладились от духовные трапезы, от премудрой беседы святоподвижных отцов.

Пришли. Уселись. Глянули старцы друг другу в очи и, нахлобучив камилавки, опустив главы долу, повели благочестную беседу.

– Рцы ми, брате, – начал Мардарий: – кто умре, а не истле?

– Лотова жена – та умре, но не истле, понеже в столп слан претворися – соль же не истлевет. И доднесь тот славный столп стоит во стране Пелестинской, на святой на реце Иордане.

Вздыхает Евпраксия Михайловна, охают и отирают слезы келейницы, а Гриша дивится скорому и столь мудрому ответу честного отца Варлаама.

– Что есть, брате, – продолжает Мардарий: – ключ деревян, замок воден, заяц убеже, ловец утопе?

– Ключ деревян – жезл Моисеев, замок воден – Чермное море, заяц убеже – Моисей со израильтяны, ловец потопе – Фараон зломудрый, царь египетский.

Подумал малое время Мардарий, еще вопрос предложил:

– Что есть, брате, стоит град на пути, а пути к нему нету; идет посол нем, несет грамоту неписаную?

– Град на пути – то Ноев ковчег, понеже плавайте по непроходному пути, сиречь по потопным водам: посол нем – то есть чистая голубица, а грамота неписана – то есть сучец масличный, его же принесе в ковчег голубица к Ною за уверение познания, что есть суша, и Ной праведный, зря той сучец, с сынами и дочерьями, со скотом и со птицы и со всяким гадом, бывшим в ковчеге едиными усты и единым сердцем прославиша благодеещего бога.

– А осмелюсь, отец Мардарий, вас опросить, – вмешалась хозяйка: – всякие ли скоты были у Ноя в ковчеге?

– Всякие, матушка Евпраксия Михайловна, всякие были; одной твари не было...

– Какой же это, батюшка?

– Рыбы! – во все горло закричал Варлаам и, схватив обеими руками осетрий тавранчук, пошел уписывать его за обе щеки. Все переглянулись. А отец Варлаам к ерофеичу десницу простирает.

– Прорвало! – сквозь зубы прошептал Мардарий и еще ниже опустил главу свою.

– Батюшка!.. Отец Варлаам! – с ужасом вскочив с лавки, вскрикнула одна из канонниц, – не сквернись ради господа!

– Не замай его, Матренушка, – молвила тихонько Евпраксия Михайловна, удерживая за рукав канонницу. – Не видишь разве? – Христа ради юродствует...

А Гриша ног под собой не слышит. Не понимает, что вокруг него делается. И беседа мудрая, и безобразие немалое. «Что ж это такое, – думает он: – прямым ли делом отец Варлаам юродствует, иль это враг лукавое мечтание очам моим представляет?»

Мардарий пришипился – ни гугу, только лестовку перебирает. А отец Варлаам стаканчик на лоб, да еще, да еще. И псалму запел:

Прошу выслушать мой слог,
Что в печали сложить мог,
Во темных во лесах...

– Подтягивай, Мардарий!

– Провидец, провидец! – зашептали матушки-ке-лейницы. – Сроду не видывал отца Мардария, а узнал ангельское имя его.

Однако ж Мардарий не подтягивает, опустя голову смотрит вниз да половицы считает. А Гриша шепчет молитву на отогнание бесовских мечтаний и думает: «Чего ради бысть знамение сие?» А Варлаам-то заливается:

А вот наша вся отрада:
Хлеб, вода – и вся награда —
Живи да не тужи...

– Да подтягивай же, Мардашка!.. Хвати стариной!.. А ты, раба божия Евпраксия, водочки-то подлей!

– Виноградненького не соизволите ли, батюшка? – отвечает Евпраксия Михайловна, наливая в рюмку сантуринского.

– Не подобает!.. Настойки давай!.. Мать твою как звать?

– Евдокией, отче, Евдокией.

– Ладно, я уже по ней канон за единоумершего справлю... С поклонами!.. А водочки-то подлей... Ну, пой же, Мардашка; подтягивай и вы, красавицы-девицы, скитские белицы... Валяй!

Щи да кашу поставляют,

За велико почитают —
Изрядной вот обет.
Пирожка кусок дадут,
То подумаешь и тут,
Как-то его съешь.

– Валяй, матери!.. Катай, канонницы!

И певец сладкогласный, оглянуться не успели, как
поел все пироги и левашники.

Вместо водок, сладких вин —
Поставляют квас един:
И то за гостя чти.

– Да подлей же настойки-то, Михайловна!

По обеде все по кельям
И как будто от безделья
Правило несем.
Тогда с горя и досады
Поискать пойдешь отрады —
Во деревню, за лесок...

– А на деревне-то пташечки-сударушки! Вот такие
ж красотки, как вы!

И пошел канонниц хватать да щупать.

– Юродствует, – шепчут они, – юродствует.

А Варлаам допевает песнь душеспасительную:

Лишь пойдешь за монастырь
Да возьмешь в руки костыль,
Вслед уже бегут.
Как злодеи набежали
И как вора сохватили,
Тут же цепию грозят.
Вина хотя не видал,
И игумен закричал:
«Протрезвить должно его».

– А я ни капельки не пьян. Дьявол пьян, а инок никогда не бывает пьян: это бес...

Приведут в келью, запрут,
Ключ игумну отдадут,
А тут хоть умри!
Сутки двое так томят,
Ничего не говорят,
Гладят, аки зверь!

Да как пустится вприсядку. И пошел иную псалму припевать:

Эй, ты, калина-малина.
Валяй, старцы, на Бисериху!
А девки да молодки
На Купалу на Ивана,
Да на самого болвана,

Эй, на Ярилу-молодца!
Уж и я ли не Ярила?
Уж и я ли не Гаврила?
Эх, вы, голубки,
Глядите-ка старцу сюда!

И цап-царап молодую хозяйкину невестку за рукава беломиткалевые... Запустил десницу за ворот...

– Чтой-то за безобразие?.. Господи! – закричала невестка, недавно взятая из Москвы и еще не знавшая таких подвигов преподобных отцов.

– Юродствует, матушка, юродствует! – шепчут ей. – Это он плод чрева твоего благословляет.

Спровадили кой-как блаженного юроду в Гришину келью. Не обошлось без греха: дорогой на усаде двух работников искровянил... Добравшись до места, не разоблачась, повалился на пуховик и тотчас захрапел во всю ивановскую.

Не раз случалось Грише видать бесчиние старцев; но такого и он еще не видывал. Когда, бывало, они ночью, в келейной тиши, тихомолком бесчинствуют, всю беду на дьявола он сваливал. «Известно, – думает, – окаянный силен; горами качает. Представить человеку сонное мечтание либо неподобное видение – ему нипочем». Но сколь ни вспоминал юный келейник изо всего прочтенного им – в «Патериках», в «Прологах», в «Книге о Старчестве» и в разных «Цветниках»

и «Сборниках», – нигде нет того, чтобы бес, вселясь в инока, при двадцати человеках такие дела творил... «Разве что в самом деле юродствует?» – Об юродах же Гриша читал и слышал немало, самому ж видать их еще не случилось... «Юрод – отец Варлаам, – думает он, – иначе как же можно, чтоб иноку при мирском народе, в камилавке, в кафтыре, грибезовским горлом скаредные песни петь, плясать бесовски и непотребства чинить».

Но когда ночью услышал Гриша беседу проспавшегося Варлаама со старинным приятелем его Мардарием, когда узнал он, что Варлаам за пьянство из десяти скитов был выгнан, а за непотребство два раза в остроге да в рабочем доме сидел, а один раз своя же братья, раскольники, ему за бесчинство на девичьих посиделках бороду спалили, – смекнул тогда юный подвижник, что Варлаамово юродство на иную статью уложено.

«Что ж это за старцы, что за столпы правой веры? – размышляет Гриша. – Где ж те искусные старцы, что меня бы, грешного, правилам пустынной жизни научили? Где ж те люди, что правую бы веру уму моему раскрыли?.. Неужли кроме меня нет на свете человека, чтоб истинным подвигом подвизался и сый борим дьяволом устоял бы в прелыценьях, не поругался бы святому своему обещанью?»

Шире и шире разрастались горделивые думы в распаленной голове Гриши. Высокоумие вконец его обуяло. Еще поглядел он на несколько старцев, еще послушал их разговор – и сказал богу на молитве:

«Господи: есть ли человек праведен паче мене?»

С ранней молодости наслушался Гриша о нынешних последних временах, о том, что народился антихрист и пустил по земле нечестие: стали люди браны брить, латинску одежду носить, чай, треклятую траву, пити, табачное зелие курити, пачпорты с бесовской печатью при себе держати.

Куда деваться от него? Смотрит в книги, видит, что от злобы антихриста истинные Христовы рабы имут бежати в горы и вертепы, имут хорониться в пропасти земные; а кто не побежит из смущенного мира, тот будет уловлен в бесовские сети и погибнет погибелью вечной... Ключом кипит горячая кровь – только то и держит на уме Гриша, как бы найти ему искусного старца, жителя пустыни, чтоб бежать с ним в дебри лесные. И распалось злобой Гришино сердце на всех, кого считал он антихриста слугами. Лелеял он в душе своей правило раскольничьих ревнителей: «с табашником, со щепотником и бритоусом и со всяким скобленным рылом – не молись, не дружись, не бранись». И дошел до убежденья, что «никонианина пришибить – семь пятниц молока не хлебать». И

не дрогнула б рука у него, если б зло сотворить кому из церковников... Евпраксия Михайловна и тени не имела такой нетерпимости, не раз журила она Гришу за вырывавшиеся у него подчас злобные слова, но журьба доброй хозяйки его не трогала. Мрачно молчит, слушая речи ее, и душой болеет: «вот, дескать, и добра и милостива, а вдалась же в суету греховную: совсем обмиршилась».

Глядя на бесчинство старцев, на безобразие переходящих богомольцев, не думает больше Гриша, что бесы его смущают, гордыня вконец обуяла его. Без грусти, без сердечной истомы смотрит он в щелочку из своей каморки, как честные отцы со штофом беседуют, иной раз и курочкой не брезгают. Бесчинство старцев, их разговоры о вещах непотребных радуют его. Насмотревшись на них, спешит он босыми ногами на кремни да битые стекла, налагает вериги, кладет земные поклоны сотню за сотней. Уста шепчут кичливую молитву о прощении бесчинных старцев, а в душе тайный голос твердит: «Господи! да есть ли же где-нибудь человек праведен паче мене?»

Перестал Гриша на речку ходить, перестал от зари до зари воспевать прекрасную мать-пустыню, забыл про сладкие слезы, что во время бывшее по целым часам текли из глаз его, устремленных на черневшую вдали полосу леса.

Зато сильнее прежнего мучило Гришу другое. Многого он начитался, многого он наслушался от привставших в его келье. Не раз слышал, как поповщинские раскольники спорили меж себя насчет нового австрийского священства; много раз слышал, как поморцы хулят поповщину за попов, федосеевцы поморцев за браки, филипповцы федосеевцев за то, что не по уставу кладут поклоны, а бегуны сопелковские всех проклинают, кто в своем доме живет. И все-то друг друга обзывают еретиками, все-то чужому толку наносят укоры, все хвалят одну свою веру...

И день и ночь размышляет Гриша: «Где ж правая вера, где истинное учение Христово?» И молится Гриша со многим вздыханьем и со многими словами, да пошлет к нему господь человека, что указал бы ему правую веру.

Раз, поздним вечером, ранней весною, звякнуло железное кольцо калитки у дома Евпраксии Михайловны. Тихим, слабым, чуть слышным голосом кто-то сотворил Иисусову молитву. Привратник отдал обычный «аминь» и отпер калитку. Вошел древний старец высокого роста. Преклонные лета, долгие подвиги сгорбили стан его; пожелтевшие волосы неровными включенными прядями висели из-под шапочки. На старце дырявая лопатинка, на ногах протоптанные корцовые лапти; за плечами невеликий пещур.

– Что тебе, дедушка? – спросил привратник.

– Ох, родименькой! – зашамкал беззубый старик, задыхаясь и тяжело опускаясь на прикалитную скамью, – указали мне боголюбцы путь в дом сей ко благочестивой вдовице, к Евпраксии Михайловне.

Привратник, не впервые принимавший странников, выпустил его.

– Один, что ли, старче, аль еще кто есть с тобой? – спросил он его.

– Один, родимый ты мой, один.

– Пойдем, старче.

И повел его в дом. Евпраксия Михайловна вечернее правило тогда с канонницами справляла. Велела старца ввести.

– Мир дому сему, – сказал он, уставно, истово помяясь перед облитыми лампадным светом, сребропозлащенными иконами, и до самой земли поклонился хозяйке.

– Садись, старче божий, садись, обогрейся! Вишь у тебя лопатйночка-то какая ветхая². А на дворе-то морозно, время-то погодливое... Сядь-ка вот здесь, старче... Да велите-ка, матери, Гришеньку кликнуть, «господь, мол, гостя даровал». Сними пещур-то, старче; ишь как умаялся. Принесите горячего кушанья, ма-

² Лопать, лопатинка – рубище (в восточных и приволжских губерниях, верхняя одежда) в Сибири и на Севере.

тери. Да топленая ль у Гриши келейка-то? Пустошничать что-то зачал, Христос с ним. Да и старцы давно не привитали – третья никак неделя. Не диво – непогодь такая, распутица. Сними-ка ты, старче божий, пещур-от.

И, не дожидаясь ответа, сама стала снимать со старца ношу его, но, коснувшись плеч, отшатнулась и прошептала молитву. Она тронула плохо прикрытые рубищем, вросшие в тело старца железные вериги.

Старец снял пещур. Евпраксия Михайловна бережно, творя молитву, поставила его под образа.

Вошел Гриша. Полузамерзший старец маленько поотдохнул в жарко натопленной моленной.

– Господа ради, сокрой меня грешного на малое время в стенах твоих, боголюбивая матушка, – тихо проговорил он.

– Рада всей душой, старче. А можно ль святое имя твое узнать?

– Грешный инок Досифей...

– Ах, батюшка, отче Досифее! Что ж ты не поведал ангельского своего чина?

И, творя «метания» – как она, так и бывшие с нею в моленной, – уставно покланялись старцу по дважды, приговаривая: «Прости, честный отче, благослови, честный отче».

– Бог простит, бог благословит, – отвечал Досифей.

И сам сотворил всем «метания».

– Откуда грядешь, куда путь держишь? – заговорила Евпраксия Михайловна после уставного обряда.

– Града настоящего не имею, грядущего взыскую, – отвечал старец, – путь же душевный подобает нам, земным, к солнцу правды держати, аще тако отец небесный устроит. Телесный же путь кто исповесть?

«Бегун сопелковский», – думает Гриша, давно наметавшийся середь переходящих богомольцев.

– Праведны речи твои, отче Досифее, праведны твои речи, – полушепотом, набожно говорила Евпраксия Михайловна.

Несколько минут молчанья. Старец сидит, тяжело опустившись; движеньем губ творит он молитву, а слов не слышно. Радостным ликом, светлыми очами смотрит вдовица на прохожего трудника и тоже тайно молитву творит. Безмолвно сидят келейницы, истово перебирая лестовки. Мерно чикает маятник стенных часов, что висели у входа в моленную.

– В пустыне жил я, матушка, – тихой речью заговорил обогрешившийся старец. – В пустыне я жил – недалеко отсюда – в Поломских лесах. Немалое время провождал, грешный, в пустыне... Келейку своими руками построил, печку сложил ради зимнего мраза; помышлял тут и жизнь свою грешную кончить... А вот – две недели тому – на самое сборное воскресенье по-

пущение божие было. Отлучился аз, грешный, раде телесныя нужды, дровишек набрать из буреломника. Подхожу к келейке – только дымок от головешек мало-мало курится... Сгорела!.. Немалое время жил я в той келейке, матушка, сорок лет, и не было ко мне ни езду ни ходу; сорок лет людей не видал... Сгорела!.. Привык я к келейке, матушка, чаял в ней помереть, домовину выдолбил – думал в ней лечь, в келейке стояла у меня... Сгорела!.. Годы мои старые, а плоть немощна. Не снести без келейки зимняго мразу – треба нову поставить... И вот, слыша от боголюбцев про твои пел и к и я добродетели, добрел я до тебя, Евпраксия Михайловна, – дай пережить у тебя до лета; не оставь меня, грешнаго, ради Христа. А летом, богу изволюшу, побрел бы я опять в свою пустыньку, опять бы кельеночку поставил, домовинушку бы сделал... Не оставь Христа ради!

И дряхлый Досифей пал к ногам Евпраксии Михайловны. А она его поднимает, сама земное поклонение творит, а слезами так и обливается.

– Слышала, говорит, старче, слышала про ваше несчастье. Пала и к нам весть, что исправник в Поломски леса выезжал – старцев ловить, келейки жечь. Экий злорадный какой, прости господи!

– Не кори его, Евпраксия Михайловна, – сказал на то Досифей. – Не моги корить. Аль не знаешь заве-

та: «твори волю пославшего»?.. Послушание паче поста и молитвы... Тут не злорадство его, а божия воля... Без воли-то господней влас со главы человека не падает. И то надо памятовать, что житие дано нам тесное, путь узкий, тернием, волчцами покрытый. Терпеть надо, матушка, терпеть, Евпраксия Михайловна: в терпении надо стяжать душу свою... Слава Христу, царю небесному, что посетил и меня своим посещением... Вот что!

– Праведны, старче, речи твои, – сказала Евпраксия Михайловна, – правда во устах твоих! Но за что ж они на нас так лютуют? Ведь и они во Христа бога веруют. За что же?

– На то господне смотрение. Стало быть, надо так. Не испытай сотворшаго!.. – строго промолвил старец.

Досифея напоили, накормили; Гриша в келью его проводил.

– Бог спасет, родименькой, бог спасет, – говорил старец на усердные послуги Гриши, когда тот, затеплив лампадку перед иконами, к месту прибрал старцев пещур, закрыл ставни, а потом с обычными «метаниями» простился и благословился по чину.

– Бог простит, бог благословит, – ответил Досифей. – Ох, ты, мой любезненькой!.. Спасибо тебе... Поди-ка ты, малец, подь-ка, раб божий, спокойся.

Ушел Гриша в каморку за печку-голанку. И тотчас к

щелке.

И видит: оставшись в манатейке и в келейной камиллавке, хотя и был истомлен трудным путем, непогодой, на великое ночное правило старец остановился, читает положенные по уставу молитвы. Час идет, другой, третий... Гришу сон клонит, а старец стоит на молитве!.. Заснул келейник, проснулся, к щелке тотчас – старец все еще на правиле стоит.

Дожил Досифей у Евпраксии Михайловны до той поры, как реки спали и можно стало лесом ходить. Никуда не выходил он. Кроме Евпраксии Михайловны да ее сыновей, никого к себе не пускал. Не только в Колгуеве, на самом усаде Гусятниковых мало кто знал о прохожем старце... Гриша был при нем безотлучно.

Не видал еще он таких старцев... Смирил в себе гордыню, увидев, что Досифей не в пример строже его правила исполняет, почти не сходит с молитвы, ест по сухарику на день, а когда подкрепляет сном древнее тело свое – господь один знает.

Собрался Досифей в путь-дорогу. Евпраксия Михайловна денег давала – не взял; новую свиту, сапоги – ничего не берет; взял только ладану горсточку да пяток восковых свеч. Ночью, перед отходом старца, сел Гриша у ног его и просил поучить его словом. В шесть недель, проведенных Досифеем в келье, не удалось Грише избрать часочка для беседы. То на

правиле старец стоит, то «умную молитву» творит, то в безмолвии обретается.

– Скажи, отче, поведай рабу своему, в коей пустыне спасал ты душу свою, где подвигом добрым подвизался? Меня тоже в пустыню влечет, на безмолвное, трудное житие... Поведай же, отче, поведай, где такая пустыня?

– Нет моей красной пустыни!.. Нет ее больше!.. – с грустью отсоветовал старец. – Сгорела моя келейка, домовинушка в ней сгорела... Пришел, ан только одне головешки...

– Слышал, отче, слышал... Ироды!.. Пилаты!..

– Где Ироды, где Пилаты? – встав с лавки и во весь рост выпрямляясь, строго Гришу спросил Досифей.

– А твои лиходеи?.. Никониане!.. Укажи мне их, отче, укажи твоих злодеев... Я бы зубами из них черева повытаскал.

– Во Христа ты веруешь? – спросил старец Гришу, строго глядя на него.

– Верую, отче святой, – по-старинному верую.

И перекрестился истово двуперстным знамением.

– А слышал ли ты, друже, как Христос на Лобном месте, на кресте за жидов молился?

– Читал, отче... Господь грамоте сподобил меня, сам про это читал.

– А читал ли, что перед тем от них он терпел?.. И

заушения, и заплевание, и по ланитам биения... А не было за ним греха ни единого... И все-таки за мучителей молился... А нам-то что повелел он творить? Самую-то первую заповедь какую он дал?.. Помнишь ли?.. Любить врагов повелел... Читал ли о том?

– Читывал, отче.

– А читал ли, что всякая кровь взыщется?

– Читывал... Да их ведь не грех. Они ведь еретики.

– Они люди, Гришенька. Всяк человек кровью Христовой искуплен. Кто проливает кровь человека – Христову кровь проливает. Таковой с богоубийцами жидами равную часть приемлет.

Быстро подскочил Гриша ко старцу... Смирения как не бывало. Глаза горят, кулаки стиснуты.

– Да ты какого согласу сам-от будешь? – спросил он Досифея нахальным тоном.

– Христианин.

– Хвостом-то не виляй, не отлынивай! Не напоганил ли ты у меня своим еретицким духом келейку?.. Не по Никоновой ли тропе идешь?

– Держуся книг филаретовских и иосифовских...

– А говоришь, что никонианин такой же человек, как и мы, старым крещеньем крещенные? По-твоему, пожалуй, и в пище и в питии общение с ними можно иметь?

– Можно, Гришенька... Мало того что можно, –

должно.

– Да ты в своем ли уме?

– Должно. Знай, что споры о вере – грехи перед господом. Все мы братья, все единого Христа исповедуем. Не помнишь разве, что господь, по земле ходивши, и с мытарями ел и с язычниками – никто не гнушался? Как же мы-то дерзнем?.. Святее, что ли, мы его?..

– Да ведь они щепотники, в три перста молятся.

– А сколькими перстами повелел господь самаряныне молиться?.. Читал ли ты, что богу надобно кланяться духом и истиной?.. А два ли, три ли перста сложишь... это уж самое последнее дело...

– Уйди от меня!.. Уйди, окаянный!.. – отскакивая от старца, закричал Гриша. – Исчезни!..

«Это бес лукавый; черный эфиоп в образе старца пришел меня смущати», – думает Гриша и, почасту ограждая себя крестным знаменьем, громко читает молитву на отогнание злых духов.

– Запрещаю тебе, вселукавый душе, дьяволе... Не блазни мя мерзкими и лукавыми мечтаниями, отступи от мене и отыди от мене, проклятая сила неприязни, в место пусто, в место бесплодно, в место безводно, ид еже огонь и жупел и червь неусыпающий...

А старец в ноги Грише... Слезами обливаясь, молит не убивать души своей человеконенавидением...

Долго молил, наконец встал, положил на путь грядущий семипоклонный начал.

– Сам господь да просветит ум твой и да очистит сердце твое любовью, – сказал Досифей заклинавшему бесов келейнику и тихо вышел из кельи.

Гриша сам не в себе. Верит несомненно, что целые шесть недель провел он с бесом... Не одной молитвой старался он очистить себя от невольного осквернения: возложил вериги, чтоб не скинуть их до смерти, голым телом ложился на кремни и битые стекла, целый день крохи в рот не бирал, обрекая себя на строгий, безъядный пост на столько же дней, на столько ночей, сколько пробыл он с Досифеем.

Но целый день и весь вечер чудятся ему разные мечтанья: стуки в столе, бесовские звуки в стенах, топоты ножные, скакания, свист и толк, страшные кличи и нелепые грезы, гудения свирели, волынки и бубнов. И чем больше склонялся день к вечеру, чем гуще и темней становилися сумерки, тем громче и громче слышались Грише бесовские звуки. Вот и молодой месяц блеснул в небе золотым краем, звездочки вспыхнули на востоке, а заря вечерняя бледнеет. Стих людской гомон, настала теплая, благовонная майская ночь, а Гриша все борется с бесами, все читает молитвы...

И слышит: издали, с речки, из-за зеленых раки

несутся звуки волынки, гудка, новорощенной свирели
и громкой песни семиковской:

Покумимся, кума, покумимся.
Мы семицкою березкой покумимся.
Ой Дид-Ладо! честному Семику,
Ой Дид-Ладо! березке моей.
Еще кумушке, да голубушке: —
Покумимся!
Покумимся!
Не сваряся, не браняся!
Ой Дид-Ладо! березка моя!

– Иждену ж я тебе, душе прокляте... Иду брань со-
творить со дьяволом! – воскликнул Гриша и выбежал
быстро из кельи, устремился на всполье.

И видит: многое множество красных девиц поет и
пляшет у надречных раки. Все в белом, у всех на го-
ловах венки, у всех в руках березовые ветки. Одаль
молодые парни сидят – кто с сурной, кто с волынкой,
кто с новорощенной свирелью. В полночный девичий
семиковский хоровод им мешаться не след... И слы-
шит Гриша ясные, веселые голоса живого семиков-
ского хоровода:

В Арзамасе, в Арзамасе, – на украсе
Соходилися молодушки в един круг,
Оне думали крепку думу заедино:

Уж мы сложимтесь, молодки, по алтыну,
Мы пойдёмте к арзамасскому воеводе.
– Ох, ты, батюшка наш, арзамасский воевода!
Ты прими, сударь, пожалуйста, не ломайся,
Дай нам волю, дай нам волю над мужьями!

Бодро, твердым шагом, с поднятым вверх двухперстным крестом бежит Гриша на борьбу с бесовскою силой. Громко, истово читает заклятья:

– Запрещаю вам, стихийныя силы и всякия порождения дьявола!.. Заклинаю вас страшным и пре-страшным, неприступным...

А семиковский хоровод все громче да громче:
Как возговорит арзамасский воевода:

«Вот вам воля, вот вам воля над мужьями,
Вот вам воля, вот вам воля на неделю»...

Что за воля, что за воля на неделю?
Все едино, все едино, что неволя.

– Исчезни и отыди в злосмрадный огонь геенский, княже бесовский, со аггелы своими!.. Отыди в место пусто, в место безводно, в место бесплодно, – заклинает Гриша.

А у ракиит игра своим чередом. Другую песню запевают:

Дай нам шильцо да мыльцо,
Белое белильцо Да зеркальцо.
Копейку да денежку —
За красную девушку!
Ой Дид-Ладо!
Семика честнаго яичницу!

– Запрещаю тебе, вселукавый душе, проклятый Сатано!.. – говорит Гриша, приближаясь к бесовскому полку.

Но девицы, завидя его, разом встрепенулись. С гиком, с гамом завели старую песню:

Монашек, монашек,
Купи нам калачик!
Мы тебя, монашек, поцелуем,
Под ракитовым кусточком побалуем.

И вереницей кинулись на Гришу. И ну его целовать, миловать, к сердцу прижимать... А он, все-таки видя не дев земных, но бесов преисподних, знай читает свое, посылая их «в место пусто, место безводно, место бесплодно»...

И неведомо, как то случилось, – но некий от черных эфиоп, во образе полной жизни и огня, высокогрудой Дуняши, смутил строгого постника, строгого молчаль-

ника, строгого веригоносителя, что недавно с полным сознанием говорил на молитве: «Господи, есть ли человек праведен паче меня»...

И сотвори ему бес пакость велию...

Встало солнце. Целый день Гриша отплевывался, вспоминая, что случилось с ним. Хочет молитву читать, но бес, во образе Дуни, так и лезет ему в душевные очи. Все-то мерещится Грише – ракитовый кустик над сонной речкой, белоснежная грудь, чуть прикрытая миткалевой сорочкой.

Линп, на третий день пришел в себя Гриша. И, вспомня про ночь, про ракиты, про речной бережок – залился он горячими слезами: «Погубил я житие свое подвижное!.. К чему был этот пост, к чему были эти вериги, эти кремни и стекла?.. Не спасли от искушенья, не избавили от паденья... Загубил я свою праведную душу на веки веков...»

На другой день после того, как бес, во образе Дуни, сотворил Грише пакость велию, попросился к Евпраксии Михайловне на ночлег инок, каких в келье у нее еще не бывало. Сухой, невысокого роста, с живыми, черными, как уголь, горящими глазами, был он одет в суконное полукафтаные, плотно застегнутое на медные, шарообразные, невеликие пугови. Реденькая борода была тщательно расчесана; недлинные, но гладко примазанные волосы спускались с головы куд-

рявыми, черными как смоль прядями. Поступь тихая, степенная, осторожная – ни дать ни взять кошачья. Инок был такой чистенький, такой гладенький, речь была такая томная, сладостная, вкрадчивая. Был не стар, звал себя Ардалионом.

Дня три он прожил у Евпраксии Михайловны, и не было еще никого, кто бы так по сердцу пришелся Грише, как этот постник и молчальник. Хотя, по его словам, и держал он странствие только по таким людям, что сами древних обычаев держатся, а все-таки ел и пил из своей посуды; воды, бывало, не зачерпнет из общей кадки, сам сходит на речку, сам почерпнет водицы в берестяной свой туесок. И к вареву, что принесет, бывало, ему Гриша с поварни Евпраксии Михайловны, пальцем не коснется, оком даже не взглянет, пока не очистит молитвой, не положит сотни земных поклонов: столь доброопасную строгость в общении с малознаемыми людьми имел... Сперва все допытывался он у Гриши об Евпраксии Михайловне, да не про то, как душу спасает, какого держится толку, из каких старцев у нее отец духовный, а в каком капитале, каковы у нее дела по торговле, воротились ли из Москвы сыновья, за наличные ли деньги товар они продали... И все будто стороной, мимоходом. Говорит ему Гриша, что знает, про что услышал ненароком; а отец Ардалион тяжело вздыхает: «Ох, суета, суета! –

говорит. – Как-то за эту суету на страшном Христовом судище ответ давать? Всяким людям, чадо, уготована часть в царствии небесном; внидут в селения праведных и тати, и разбойники, и блудники, и сластолюбцы, аще добрым покаянием, постом и молитвою очистят грехи свои; не внидут же токмо еретик и богатый... Нет им части в славе божией!..»

Ночью с правила не сходит Ардалион – лестовок по сту стоит.

По душе пришелся Грише такой строгий, суровый, а проклятия на впадших в суету так и льются потоком из уст его. На третью ночь, когда уж все стихло, и Ардалион, поставив в особом углу медные образа свои, – чужим иконам он не поклонялся, – хотел становиться на правило, – робко, всем телом дрожа, подошел к нему Гриша. Кладет перед ним уставные «метания», к ногам припадает.

– Жажда душа моя, – говорит, – учительного словеси твоего, отче святой, стремится к тебе дух мой... Не отвергни меня, грешнаго!

– Чего ты хочешь, чадо, от меня неискуснаго? – тихо спрашивает Ардалион, сидя на скамье.

– Дай мне часть в молитвах твоих праведных, дозвожь с тобою на правило стать... А потом учи меня... До смерти готов служить тебе, до смерти готов от тебя поучаться.

– Добр извол твой, чадо!.. Добр твой извол... Но на общение в молитве с тобой дерзать не могу.

– Отче святой, – я правой веры, я старой веры – никоея ереси нет во мне... Великий я грешник перед господом; но ни еретиком... ни идоложерцом не был.

И градом катились слезы по щекам восторженного Гриши.

– В нынешния, последния времена, – тихой, вкрадчивой речью заговорил Ардалион, – мир преисполнен ересей... Благодать взята на небо, и стадо избранных верных Христовых рабов малеет день ото дня. Да, чадо, вселенная стала пуста, нет в ней больше истиннаго благочестия, темный облик злолютых ересей всю землю мраком покры. Пустил враг-дьявол по людям многопрелестную власть свою. Все осквернено: и грады, и села, и дома, и стогны – смрад сатаны дышит повсюду. Как волки в овчиих кожах, являются слуги его, глаголя: «я правой веры, я старой веры». Все старообрядцами нарицаются – и те, что зовутся поповщиной, а вера их пестра, и те, что поморцами прозваны, федосеевцами, филипповцами – но все они одинаго порожденья, геенской ехидны. Крещение их – несть крещение, но паче осквернение... Всяк, имеяй часть с ними – еретик и от бога отвержен... Какую б строгую жизнь ни повел он в трудах, в посте, в молитве, в милостыни, в нищелюбии и страннолюбии – всеу

трудится. На челе и на десней руке его – антихриста печать... Уготован он дьяволу и аггелом его, того ради, что он – еретик.

– Где ж правая вера, отче святой? Скажи... Выведи меня на истинный путь.

– Вера истинная – в пещерах, в вертепах, в пропастях земных. Теперь все в мире растлено прелестью антихриста, – и земля, нечестием людей на тридцать сажен оскверненная, вопиет к богу, просит поглотить ее огнем и очистить от скверны человеческой. Кто спасения ищет, все должен оставить – и отца, и мать, и родных, и друзей, ото всего отрещись и бегать в пустыню. Не следует жить под одною кровлей – твоя ли она, чужая ль, все равно – беги и странствуй по земле, дондеже воззовет тя господь. Свой кров иметь – грех незамолимый, никакими молитвами его не избудешь, никакими поклонами его не загладишь, никаким делом душевнаго спасения от него себя не очистишь. Буди, яко птица небесная, – тогда вся вселенная будет твоя!.. Беги и брань твори со антихристом!..

– А где он, отче? И как с ним брань творити?..

– Брань со антихристом – противление заповедям его. Прехвальнее того подвига и спасительнее для души нет ничего.

– Я готов, отче, – порывисто вскрикнул Гриша, вскочив на ноги.

До того он сидел при ногах Ардалиона.

И мигом сиявшее душевным восторгом лицо его омрачилось. Снова припал он к стопам Ардалиона и, обливаясь слезами, заглушая слова рыданиями, молвил:

– Недостоин я, отче святой, недостоин такой благодати. От юности моей бороли мя страсти, не устоял, окаянный... Не устоял супротив сетей дьявольских: осквернил тело и душу. Пал я, отче святой... Погубил целомудрие!..

– Что такое? Поведай мне, чадо, без всякой утайки, – как отцу духовному, поведай.

И сказал ему Гриша повесть дней своих от того дня, как взят был в келейку Евпраксии Михайловны, сказал, как думал он подвигом молитвы и измождением плоти спасти душу, и как с ним боролся дьявол... Все, все поведал ему до самой той ночи, как на празднике Семика он, в уме иль вне ума, соблазнен был неким от эфиоп...

– Встань, чадо, – кротко, с любовью отвечал Ардалион на его слезы и рыдания. – Сие есть плотское токмо прегрешение, сие есть не грех, но токмо падение. И велико твое падение, но всяк грех, – oprичь еретичества, – таково оплаканный, не токмо прощается, но покаянием паче возвышает душу павшаго. Есть грехи телесные горше того, те слезами не очищаются...

Таков брак... Сие есть смертный грех, потому что в браке человек каждый день падает и не кается, и даже грех свой вменяет в правду. То грех незамолимый – прямо ведет он во тьму кромешную!.. А кто падет, как ты пал, и покается – чист от греха. Хочешь ли очиститься от всякия скверны?

– О! хочу, отче святыи! Но как?.. Научи, наставь!..

– Должно креститься в правую веру и имя другое принять... Паспорты и всякия бумаги откинуть, ибо на них антихриста печать. И ни к какому обществу не приписываться: – то вступление в сонмище антихриста и сидение на седалищах губителей. И ежели вопросят тебя: кто ты и коего града? – ответствуй: «града настоящего не имею, а грядущаго взыскую». И твори брань со антихристом... Повлекут тебя на судилище – молчи... Претерпи раны и поношения, претерпи темничное заточение, самую смерть, но ни единого слова ответствовать не моги и тем сотвори крепкую брань со антихристом. Помни то, что первые мученики с людьми препирались – и сколь светлые венцы получили; ты же со антихристом, сиречь с самим дьяволом, воротиться имешь, и аще постраждешь доблественно, паче всех мученик венец получишь, начальнейшим над ними будешь, понеже не с простым человеком, но с самим дьяволом побиешися... Хочешь ли креститься в правую веру?

– Хочу, отче святой, хочу...

– А знаешь ли, чадо, каким узким, каким трудным путем, волчцами и тернием покрытым, входят избранники в сию область спасения?.. Ведаешь ли, каким подвигом ищущие правой веры достигают светлаго собора верных, их же имена писаны в книге животной?.. О, сколь труден подвиг! Сколь неудобносимо то иго!

– Поведай мне о том подвиге, отче!.. Я готов...

– Ни пост, ни вериги, ни иные твои подвиги, ими же добре подвизался еси, не спасут тебя, чадо, не введут во область спасения, куда, яко елень на потоки водные, столь жадно стремится душа твоя!.. Всуе трудился, ни во что применились молитвы твои, денно-нощная стоянья на правиле, пост, воздержание, от людей ненавидение... Всуе трудился еси!.. А сколь светлы селения земных аггелов, праведников во плоти, сколь неизреченная радости в их избранном соборе!.. И я знаю путь к тому собору и могу показать оный путь!..

– Скажи мне, отче!.. Скажи путь, в онь же пойду!.. – всем телом дрожа и лобзая ноги Ардалиона, с испуплением говорил Гриша. – Отдам тело на раздробление: узнать бы лишь тот путь и хоть на час един войти в райския светлицы земных аггелов!.. Что нужно мне, отче, чтобы достигнуть светлаго собора избранных?..

– Смирение и послушание... Слышишь ли? – послушание!

– Готов, отче, тебе и всем в правой вере сущим оказать всякое послушание...

– Не простое то послушание, но совершенное отсечение своей воли, совершенная смерть всякаго помысла, всякаго пожелания... Ты должен будешь делать только то, что велят, своей же воли отнюдь не иметь... Можешь ли принять на себя столь тяжкое иго?

– Могу, отче!

– Иго неудобноносимо, друг... Тяжеле того подвига нет на земле и никогда не бывало... Воистину ли можешь снести его?.. Ведь ты должен будешь творить всякую волю наставника, отнюдь не рассуждая, но паче веруя, что всякое его веленье – есть дар совершен, свыше сходяй... Чтоб ни повелел он тебе – все твори... И хотя б твоему непросвещенному уму и показалось его веление соблазном, хотя б дух гордыни, гнездящийся в сердце, и сказал тебе, что повеленное – греховно и богопротивно, – не внемли глаголу лестну – твори повеление... Твори без думы, без рассуждения, но только помни, что буге божие – премудрость есть человеком.

– Как же это, отче? – слегка поколебавшись, спросил Гриша. – А ежель, примером сказать, – повелят молоко в пост хлебать?

– Хлебай без рассужденья... Мало того – велят че-

ловека убить – твори волю пославшаго...

– Еретика!., готов!.. Не оскверню рук, паче же омыю их окаянною кровию!.. Как пророк Илия вааловых жрецов – перепластаю еретиков, сколько велишь!

– Не одного еретика, врага божия... Велел бы я тебе: послушания ради – самому в срубе сгореть, гладом смерть приять, засыпать себя рудожелтыми песками, в пучину морскую кинуться: твори волю мою... И если хоть един помысл греховного сомнения, хоть одна мысль сожаления внидет в душу твою – всеу трудился – уготован ты антихристу и аггелом его...

Вздрогнул Гриша.

– Можешь ли ходить путем верных? Хочешь ли да имя твое вписано будет в книгу животную?

– О, хочу, хочу!

– Пляши и пой песню бесовскую! – прищуря глаза и зорко глядя на Гришу, сказал Ардалион.

Ровно варом обдало Гришу. Отпрянул от старца на другой конец кельи, ужасом покрылось лицо его. Подняв руку с крестным знаменем, задыхаясь от внутреннего волнения читает он:

– Заклинаю тебя страшным именем господа бога живаго – отыди в место пусто, в место безводно...

– О, маловер! – с укором, качая головой, сказал Ардалион. – О, несмысленный Галат!.. Где ж твое послушание?.. Где ж отсечение воли?.. Где отриновение

помыслов гордыни?.. Нет, друже, неудобносно для тебя иго... Не можешь подъяти его праздным и раздвоенным умом твоим... Сего малого испытания не мог снести – внял глаголу духа лестна и лукава... Всуе трудился!.. Нет тебе части в светлом сонме избранных!.. Влачи жизнь в сетях антихриста!.. Погибай погибелью вечною, буди там, идеже смола кипящая, огонь неугасимый, червь неусыпающий... Говорил я, что ты должен творить всякую волю наставника, не смущаться духом, паче же веровать, что буже божие – премудрость есть человеком?.. Поди от меня!.. Что мне и тебе? Кое общение свету ко тьме?.. Маловер несмысленный!.. Не видать тебе гор Кирилловых...

– Чего?

– Гор Кирилловых, что у Малого Китежа³. Стоят оне над Волгой-рекой, рядом с горой Оползень... Когда по Волге плывет сплавная расшива мимо тех чудных гор Кирилловых, и на той расшиве все люди благочестивые, – Кирилловы горы расступаются, как врата пел и к и я растворяются, и выходят оттуда старцы лепообразные, един по единому... Процвели те старцы в пустыни невидимой, яко крини сельные и яко финики, яко кипарисы и древа не стареющия; просияли те старцы, яко камение драгое, яко многоценные бисеры, яко звезды небесныя... Выходят старцы лепооб-

³ Городец на Волге – Нижегородской губернии, Балахонского уезда.

разные, в пояс судоходцам поклоняются, просят свезти их поклон, заочное целованье братьям Жигулевских гор...

И когда расшива проходит мимо тех Жигулевских гор, должны судоходцы исполнить приказ старцев гор Кирилловых, должны крикнуть громким голосом: «Ох, вы, гой еси, старцы жигулевские!.. Привезен вам поклон от горы Кирилловой: кирилловы старцы с вами прощаются, прощаются они, благословляются»... Расступаются тогда высокие горы Жигулевския, растворяются врата великия, белым алебастром об ину пору забранныя, и выходят на берег старцы лепообразные, един по единому... И, подняв паруса белые, вольной птицей полетит расшива на Низовье... Не на свистывай ветра, бурлак, лежа на брюхе – без свиста паруса легкие наедятся ветра могучаго – понесут расшиву куда надобно... А забудь судоходцы исполнить завет горы Кирилловой – восстанет буря великая, разверзутся хляби водныя и поглотят расшиву с судоходцами... Таковы блаженные старцы горы Кирилловой, таковы лепообразные старцы Жигулевских гор.

– Где ж те горы? Где ж те старцы? – спросил вполголоса Гриша...

– Туда ходу нет маловерам... К ним может пройти только истинный раб Христов, воли своей не имеющий, в душе помыслов нечистых не питающий, волю

пославшаго творящий без рассуждения... И не только в Жигулях и на горе Кирилловой процветают крины райские, во иных во многих пустынях невидимых просияли светом невечерним светила богоизбранные... Путь же их прав, вера истинна; имена их в книге животной написаны... И сияют те светила от древних лет... Там, за Керженцем – пролегает дорога, давным-давно запущенная. Нет по ней езду конного, нет пути пешеходного, а не зарастает она ни лесом ни кустарником... То – «Батыева тропа»... Проходили тут татары поганые от стольного града Володимира в чудный Китеж-град.

И тот чудный град доселе невидимо стоит на озере Светлом Яре... Летним вечером, когда гладью станут воды озера, ни ветер рябью не кроет их, ни рыба, играючи, не пускает широких кругов, – сокровенный град кажет тень свою: в водном лоне виднеются церкви божьи златоглавыя, терема княженецкие, хоромы боярския... Живут в том граде люди блаженные, пустынные жители преподобные... Тамо жизнь беспечальная; жизнь без воздыхания, день немерцаемый, утехи райския... И всяк человек, иже смирил душу свою послушанием, уведает путь в чудный град тот и вкусит от блаженныя жизни живущих тамо земных ангелов.

– Скажи тот путь...

– Послушание без рассуждения... Кто возжелает всем сердцем, всею душою, всем помышлением оставить сей многопрелестный мир; кто неразвоенным умом, несомненно, без рассужденья, обещается идти в благо-утешное пристанище, тому чудныя врата сокровеннаго града отворятся... Никому в мире не поведавши, ни отцу ни матери, ни роду ни племени, творя лишь послушание наставника, ступай тропой Батыевой – иди, тщетного в себе помышляя и о том, чтоб вспять возвратиться, не думая... Будешь терпеть лютый глад, будешь терпеть мразный хлад, – иди тропой Батыевой – пролагай стезю ко спасению, направляй стопы в чудный Китеж-град... Нападут звери лютые, наскочит на тебя змея подколотная, – иди тропой Батыевой, пролагай стезю ко спасению, направляй стопы в чудный Китеж-град. Восстанет буря великая, хлынут на тебя ручьи дождевые, заскрипят по лесу сосны столетняя, повалятся деревья буреломная, – иди тропой Батыевой, пролагай стезю ко спасению, направляй стопы в чудный Китеж-град... Накинутся лютые демоны, нападут на тебя змеи огненные, окружат тебя эфиопы черные, заградит дорогу сила преисподняя, – а ты все иди тропой Батыевой – пролагай стезю ко спасению, направляй стопы в чудный Китеж-град.

– Скажи мне путь, в онъ же пойду!.. Хоть бы денек

там пребыть.

– Тамо – жизнь бесконечная. Час един – здешних сто годов... И не один таковой сокровенный град обретается; много их по разным местам и пустыням. Господом богом ради избранных поставлено... Ради тех, что бегают от антихриста в горы, вертепы и пропасти земныя, по реченному Ефремом Сирином... Там же, за Волгой, на озере Нестиаре другой сокровенный град... А подальше в лесу невидимая церковь стоит. В стары годы стояла она в Василь-городе, на Суре, на реке... Был праздник господень – Преполовенье день, пошел крестный ход на Суру воду святить, – двинулась за крестами и церковь божия... Сура-река расступалася, как ворота растворялася, принимала людей, что за крестами шли, принимала и церковь божию... И перенеслась церковь за Суру за реку, за Волгу-реку, за Ветлугу-реку, и доселе стоит невидимо – в лесах... а в каких – поведать тебе, маловеру, нельзя... Стоят в ней люди васильгородские и будут стоять до второго Христова пришествия... Бысть един муж благочестив и боголюбив, житель единыя веси, неподалеку стоящей. Изыде той муж в леса, ловитву зверям деюще, и божиим изволением открылась ему церковь василь-городская. Пошел раб Христов, слышит: восьмой ирмос канона на Святую пасху поют: «Сей нареченный и святой день».... Сладко рай-

ское пение, вокруг церкви благоухание, свет лучезарный окрест сияет... Муж тот не знает – во сне он или в восторге... Прослушал один только ирмос и пошел обратным путем во-свои, славя и благодаря бога за виденную столь чудную вещь...

И гда прииде в весь свою – ни единого знаемаго обрете, и ни един житель той веси его не познал. И бысть молва пел и я и многое рассуждение в людех... Муж же той имя свое поведал им, глаголя, что лишь накануне отыде из веси той в лес, звериная ради ловитвы, жену и детей своих называя и дом свой указуя... И дивляху-ся вси... По мале времени обретоша по соседству мужа древня, ему же бе вящше ста лет. И поведа той старец: «Бывшу мне во отрочестве, слышал аз, многогрешный, от родителей был-де в их веси человек добродетельный и благочестивый, имя то самое имеяй, каковым пришлец сей чудный себя нарицает... Тот человек во едино время отыде в лес, звериная ради ловитвы, и не возвратися»... И поведа люд ем чудный муж, како видел он в дебрях лесных церковь васильгородскую и слышал ангелоподобное пение. И егда поведа, испусти дух и переселился в жизнь вечную... И познаху люди, что егда блаженный един ирмос: «Сей нареченный и святой день» слушал – сто годов протекло, и более. И восхвалиша господа и рекоша друг ко другу: «дивен бог во святых сво-

их!»...И аз знаю путь к церкви васильгородской и могу указать тот путь несомненно спасения ищущему...

– Отче, отче! Скажи мне...

– Имеешь ли послушание?

– Имею, отче... Я сейчас... – И, взирая распаленными глазами на Ардалиона, подпер руки в боки, готовый пуститься в пляс. Запел было:

«Как во городе было во Казани...»

– Довольно... – сказал Ардалион. – Больше не надо. Благо твое послушание... Аще всегда будеши таково творити волю мою без рассуждения – узриши благая Иерусалима... Можешь ли теперь же творить брань со антихристом?

– Могу, отче... Где?.. Покажи треклятаго, да брань сотворю.

– Антихрист, чадо, многоглавен, многоумен и многоязычен. Все, что не нашей веры, – антихрист. Вся эта пестрая поповщина, хромья души, как бывшая хозяйка твоя со всем своим мерзким отродьем – антихрист!

– Иду – задушу и ее и всех!..

– Щука умрет – зубы останутся... Не тронь... Зубы вырви у ней.

– Какие зубы?..

– Зубы ада – его сила... Сила днешняго антихриста – деньги. Ими все творится пагубы ради человеческой... Можешь ли вырвать зубы из мерзких челю-

стей его, окаяннаго?

– Могу, отче. Знаю, где сундук. В моленной. Хожу туда по ночам лампадки поправлять. Могу, отче!.. Иду...

И пошел было к двери.

– Постой, – сказал Ардалион. – Время не приуспе... Час не пришел... Хочешь ли креститься в праву веру?

– Хочу, отче... Где же?

– Идем на речку – время благоприятно.

Пошли... И в ночной тишине перекрестил Ардалион Гришу под той раkitой, где сжимал он в объятиях Дуню... Полная луна бледным светом обливала обнаженное тело юного изувера, когда тpоекpатно под рукой Ардалиона погружался он в свежие струи речки. Ночь благоухала, небесные звезды тихо, безмолвно мерцали, в лесу и в приречных раkitах раздавалось громкое пенье соловьев.

И нарек Ардалион имя ему – Геронтий.

– Благослови, отче! – с исступленным жаром сказал Геронтий наставнику, когда воротились они в келью.

– Благословен грядый во имя господне!..

Без ума, со всех ног бросился Геронтий... Ардалион стал поспешно собирать в пещур пожитки, чутко слушая, не зашумели ль. Печку потом затопил.

Принес Геронтий сундук. Насилу дотащил.

Сундук разбили. Деньги вынули, бумаги в печь покидали.

– В пустыню! – молвил Ардалион.

И, наскоро положив семипоклонный «начал», вышли на всполье, речку в брод перешли и бегом пустились к лесу.

Дня через три хоронили Евпраксию Михайловну – умерла в одночасье.

Запутались с той поры Гусятниковы.